

## В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ (Фельетон)

Десять часов вечера. Посредине церкви, у плащаницы, окруженной свечами, читают «Деяния». Скоро пасхальная утренняя. Читает какой-то парень, одетый в городскую жакетку поверх ситцевой, еще ни разу не стиранный рубахи. В руке у него зажата тоненькая восковая свеча и голова с наморщенным лбом близко наклонена к книге. Он, видимо, полагает, что церковный текст нужно читать особым, не житейским порядком, и поэтому голос его торжественно приподнят, напряжен и, вместо слова «вода», он произносит так: «вóда». Вокруг чтеца стоят несколько мещан и, осторожно поддерживая в руках новые, праздничные картузы, с благоговейным вниманием слушают, очевидно, плохо понимая читаемое, но с сознанием исполняемой необходимости: слушать под Пасху «Деяния». Сильный свет только у плащаницы, а остальные части церкви тонут во мраке, робко выделяя из себя синие и красные огоньки таинственных лампадок так, что если стать около чтеца, то не разберешь: близко они или далеко. Тихо, вереницей, богомольцы подходят к плащанице, благоговейно ступают на приступки, много крестятся и сквозь кисею прикладываются к Евангелию. Около свечного ящика сидят, согнувшись, старухи, похожие в темноте на огромные гнезда, и суетливым, громким шепотом разговаривают меж собой: хорошо для спасения души в пасхальную ночь с самых сумерок забраться в церковь и сидеть там до самой утрени. И старухи сидят. Сторож Герасим, стоя на высокой раздвижной лестнице, наматывает на люстру электрическую нитку и свет, который снизу вверх идет от плащаницы, так причудливо падает, что из всей фигуры его видны только ноги да большие сапоги с новыми подковками. Обыкновенно он угрюм, в страстную седмицу, как в дни, в которые нечестивцы мучили его Бога, он бывает еще угрюмее, но сегодня он лелеет в себе радостную тайну и улыбается. Он знает, что несчастные черти, весь пост подтачивавшие зубами веревку, на которой висит главный колокол, – все посыпятся с колокольни вверх тормашками, как только сегодня, в двенадцать часов, раздастся его первый, могучий удар. И полетят окаянные вниз головой, как орехи, и все свои нечестивые, рогатые морды разобьют о камни. И Герасим, зная, что сейчас сатанам, которые чуют свои последние минуты, особенно тошно, и что все-таки, надеясь на авось, они с особым усердием грызут канат, думает про себя: «Грызите, грызите, проклятые! Все равно не перегрызете! Подавитесь». И улыбается.

В темном алтаре, с правой стороны престола, покрытого шелковой пеленой, на маленьком бархатном табурете сидит в ожидании службы старый настоятель храма о. Петр... В большие стрельчатые окна, с решетками наружу, глядит тихая весенняя ночь. Стоят еще оголенные деревья и не шелхнутся, ветра нет, будто бы и он где-то готовится к празднику и, ради светлого дня, хочет быть теплым и ласковым. Вон кресты могил. Здесь, недалеко от алтаря, похоронены люди, близкие к церкви: священники, ктиторы, благоотво-

рители. Сегодня они, в своем покое, вновь услышат, что на землю пришел воскресения день и порадуются за людей, которые, быть может, в этот день, единственный в году, бросят, как в перемирие, свою проклятую борьбу за сытость желудка, мягче, ласковей и добрее поглядят друг другу в глаза, вспомнят, может быть, что все они – братья и все одинаково хотят счастья, вздохнут, что на земле так мало справедливости и совести, а есть много мечей, пушек и гранат и что, несмотря на телеграфы, телефоны и железные дороги, – сильный все-таки побивает правого слабого и пользуется почетом. Вдалеке, за деревьями, видна железная решетка ограды и какие-тодвигающиеся фигуры: это сторожа расставляют площадки для пасхальной иллюминации.

– Став же Павел посреди ареопага и рече, – слышится о. Петру с середины церкви: – Бог, сотворивый мир и вся, яже в нем, сей небесе и земли Господь сый...

С умилением, ласково улыбаясь неправильным ударениям, вслушивается протоиерей в знакомый дорогой текст. Он отлично сознает, что и этот голос, и эту главу «Деяний» он слышит в последний раз. Скоро – смерть. И весеннюю ночь, и оголенные деревья, и дарохранительницу в виде пятиглавого золотого храма, пожалованную императором Павлом, и высокое стрельчатое окно, – все это в последний раз видит он. И кажется ему, что среди темноты и монотонного чтения иконы, написанные на стенах алтаря, и царские врата, и жертвенник, и престол, покрытый шелковой пеленой, шепчут ему:

– В последний раз!

Вот картина: принесение в жертву Исаака. Теперь она потрескалась и отсырела, а протоиерей помнит ее новою, только что написанною, цветущею яркими красками. А теперь и Авраам кажется старым, и шелк его одежды померк, и только Исаак, лежащий на дровах, улыбается еще жалостнее, чем прежде... И это оттого, что со всех сторон слышится:

– В последний раз!

Что-то скрипнуло и из двери, ведущей в пономарку, вошла какая-то темная фигура.

Это церковный староста Антипа Лыков, Антипыч, как его зовут, ровесник о. Петра, такой же сморщенный и старый. В последний раз он, подойдя, наклоняется к уху протоиерея и осторожно, сознавая святость мета, говорит:

– Полунощницу в половине двенадцатого начнем?

– Конечно, конечно, – шепчет протоиерей: – как всегда, по обыкновению...

В темноте он старается разглядеть лицо Антипыча, его отложную крахмальную сорочку, которую он надевает два раза в год и которой почему-то стыдится, медаль на красной ленте, – и не может. В былые годы он непременно подшутил бы над «крахмалами» Антипыча, но теперь не до этого, теперь есть другой, маленький секрет, который невдомек тому.

Вот он нагнулся и спрашивает, когда начнется полунощница, а того не знает, что этот вопрос, предлагаемый им уже сорок первый год, теперь звучит в последний раз... И никто, никто этого не знает и не чувствует, что чело-

век, которого уважают и любят, не хочет огорчать своих друзей предчувствием смерти...

И как это хорошо...

– Погода гарная, шепчет староста: тихо, тихо. Звезды горят, тепло. Небось, в Москве или Питере еще снег, а у нас уже яблони скоро зацветут...

– О-о! радостно соглашается протоиерей: – конечно, в Москве еще снег. Пасха ранняя. А у нас вот яблони зацветут, вишни. Будет лето. У нас юг, тепло. У нас хорошо. И лето будет прохладное, не жаркое.

О. Петр гладит себя ладонью по колену и лукаво смотрит в окно. Слышно, как в ограде, ожидая иллюминации, шумят ребятишки.

– А сколько лет мы вместе служим? вдруг спрашивает о. Петр, поворачиваясь к Антипычу. Тот шевелит пальцами и долго припоминает, глядя в потолок.

– Вы уже года три священствовали, когда меня в старосты выбрали, говорит он, наконец: – Годов за сорок будет. Тогда еще у вашей покойницы сын Гриша родился. Много время! Два раза полы в церкви перестилали, три колокола треснули...

Много время!

О. Петр низко склонился, подперши голову руками...

– Да, да, Гриша.. Умер он.. Вон его могилка, отсюда видно. Маленький крестик под вишенкой...

Да, сорок годов. Сорок годков!.. бобыли мы с тобой Антипушка. Никому не нужные, несчастные старики...

И оба мы с тобой прожили неуютную, неприветливую, холодную жизнь.

О. Петр вдруг поднялся и нервно, как друга, обняв Антипыча рукой, медленно и отдельно сказал дрожащим голосом, показывая на престол:

– Вот алтарь Господа нашего! Ему, Единому, послужили! Ему, Единому, поработали! Ему! Ему! Единому!..

Он затрясся, сразу устал, опустился, придерживаемый Антипой, на табурет и зашептал:

– А теперь и на покой пора... Туда... Домой...

Ноги уже не ходят.. Страстную не мог служить...

Совсем не мог... Хоть отруби.. Ноги-то...

Антипыч нагнулся к нему, оправляет его, знает, что ему нужно что-то сказать, утешить старика, в душе у него самого накопилось много горького, невысказанного, но что он может вымолвить? Какие слова может найти он, безграмотный старый купец, чтобы протоиерей, человек огромной учености, мог понять его и почувствовать, как он горячо любит его и как ему жалко его.

Молчит Антипыч и только что-то острое и теплое падает о. Петру на щеку и длинно, длинно катится, как дорожка. Но, наконец, Антипыч обретает дар слова.

– Ничего, ничего... о. Петр... бормочет он: – как-нибудь... Я вам. страстной.. Ничего.. Как-нибудь..

И долго оба старика сидят и думают про свою длинную, холодную жизнь. А из церкви по-прежнему слышно монотонное, неумелое чтение и по-прежнему длинной вереницей подходят люди к плащанице и целуют Распятого Бога.

Но вот боковая дверь иконостаса отворяется и в полосе проникнувшего снаружи света показывается Герасим. На цыпочках приближается он к о. Петру и тихим сдавленным голосом спрашивает.

– Как же на счет вдара, о. протоиерей? благословите ровно в двенадцать!

Спрашивает он, конечно, для формальности, из чувства дисциплины, а у самого сердце так екает и хочется как можно скорее дать генеральный бой нечистой силе.

Он за церковное добро горой стоит. Еще бы! Самый плохой канат дай Бог за 15 рублей купить.

– Конечно, в двенадцать. Как полночь, так и Господи благослови.

– Так-с! протягивает Герасим и, постояв немного, снова исчезает во тьме. И когда он выходит на свет, то лицо его не перестает играть довольной улыбкой и губы что-то шепчут.

За четверть часа до службы приходит дьякон, о. Алексей, заспанный еще, только что умывшийся.

Он – балагур, живой человек и шелковая ряса его, которую он собирался сшить шесть лет и, наконец, сшил, теперь шуршит на нем особенно весело. Он молодецки поправляет рукава с синими отворотами и дает попробовать о. Петру материал:

– Два рубля аршин, батя, задорно говорит он: жили бедно да и будя. А ты, Антипыч, при сорочке... И при медали! Ого-го.. Сторожа не узнают тебя и подумают, что губернатор...

Антипыч конфузится, а дьякон смеется длинным, детским, пересыпчатым смехом.

Слышно, как на клиросе собираются певчие. Все они поохрипли за страстную, петь им уже нечем и теноры, у которых есть длинное соло в концерт□, сосут «для голосу» красные леденцы. Ребята, все примасляные и в новых оттопыренных к низу рубашках, шумят, топают ногами и ссорятся из-за огарков. Чтение «Деяний» прекратилось, церковь сразу, как водой, наполнилась народом и Антипыч, осторожно ступая по амвону, строгим голосом приказывает, кому брать «святости» для крестного хода.

Началась полунощница.

– Волною мо-орско-о-ою скрывшаго древле, тихонько, как летний ветерок понеслось по церкви пение хора и весь шум сразу смолк.

– В последний раз! опять пронеслось в голове о. Петра. Он уже облачился и тяжелые ризы еще больше горбили его.

– Го-онителя! Мучителя! выкрикивали басы.

И он представлял себе, как Антипа заплачет, когда он, протоиерей, будет лежать в гробу, с улыбающимся лицом, в дорогой блестящей ризе, с крестом в руках. Лицо его покроют парчовым платком и около гроба будут чи-

тать дьякона и он еще раз, уже мертвый, услышит свое самое любимое евангелие, когда Христос спрашивает Петра: «Симоне» Ионин! любиши ли мя? А если смерть придет до Вознесенья, то хор будет петь «Воскресения день» и погребение выйдет радостным и торжественным. Заупокойных напевов не полагается и священники оделись бы в золотые ризы. И о. Петр чувствовал, что за его гробом пойдет много людей, но слез не будет, а будет солнце, вдали заблестит река и запоют птицы. И из всей толпы будет плакать только один Антипыч, который понесет изголовье его гроба, – будет плакать горько, неутешно...

– Что с вами, о. Петр? над самым ухом слышится у него заботливый голос дьякона – Вы присели бы, отдохнули.

– Нет, нет, ничего, – лепетал о. Петр: – это так, ничего.

И снова говорит дьякон, – только так, будто издали, издали:

– Читать евангелие сегодня будете по-латыни, о. Петр. Вот уж ничего не понимаю по-латыни!

Вечно колы в училище получал. Pater noster, – только и знаю.

Ноги у протоиерея дрожали, в глазах то темнело, то отпускало и набедренник казался сделанным из чугуна, так он тянул шею. И опять, но уже над самым ухом, говорил дьякон:

– А родительный падеж будет patrum nostrum.

Это еще не забыли. Помним.

Протоиерей ясно представил себе, что родительный падеж будет не так, но отвечать не хотелось.

Хотелось слушать певчих которые тихо пели что-то и в песнопеньях слышалась скорбь. Как бы в ответ этой скорби, на клиросе читали канон скоро и невнятно, словно желая, чтобы поскорее окончились эти печальные, черные дни. Но время тянулось долго, очень долго и, казалось, никогда не будет конца этим печальным песням. Но вот дьякон, веселый, с торжественным миром, растворил царские врата поклонившись народу. О. Петр стоял у Престола. Он чувствовал, что позади его колышется целое море людей с зажженными свечами и огоньки этих свечей теперь улыбаются, предчувствуя радостное событие. В алтарь пришли Антипа, Егор Прохорыч и другие почетные прихожане, – все с толстыми свечами, чтобы нести плащаницу с крестным ходом. И эти толстые свечи, в сравнении с тоненькими походили на басов. Около клиросов мерно колыхались хоругви. На клиросе что-то спешно дочитывали.

И наконец!

– Воскресение Твое Христа Спа-асе! первым запел о Петр и оборвался:

– В последний раз!

Хор, Антипыч, дьякон, все люди и, казалось, стены, свечи, колыхающиеся хоругви подхватили за ним и понеслось!

– Ангели поют на небеси-и!..

И в этот момент торжественно и победно ударил на колокольне Герасим:

– Ббб-ом!..

Слезы полились у о. Петра из глаз. Все заволновалось впереди него и сквозь прозрачную сетку, которая застлала ему зрение, казалось, что это не народ, а огненная лава. Кто-то мягко взял его под руки и осторожно ведет. Над его головой распростерта плащаница.

Крестный ход тронулся. Вот он спускается по порожкам и поет к выходу.

– И нас на земли спадо-оби; заливаются детские голоса.

Пахнуло сквозняком, близка уже выходная дверь.

«Кончилась жизнь», думает о. Петр, еле передвигая ноги: «не надо бы служить... Упаду.. Последний раз обойду кругом родной церкви.. Взгляну на могилки...»

Вышли в ограду. Чудная, весенняя, южная ночь! за светом никого не видно, кроме ближайших лиц и на этих лицах написано умиление. Все – братья.

Все – одна семья! Под ногами мягко шуршит свежий, еще сыроватый песок. Над головой о. Петра – мертвый ласковый Бог, умерший за мир. Еще выше – бесконечное, осыпанное бриллиантами небо, теплое, улыбающееся.

– А в Москве снег, почему-то вдруг вспомнил протоиерей и засмеялся.

Хор продолжал свою песнь, Герасим звонил, – и все звуки неслись далеко. За ограду, перелетали через реку и были слышны, вероятно, на Песчаной улице.

Вот и могилки. Вот и вишенка. Скоро она покроется белыми цветами и засыплет ими его могилу.

Он будет лежать на давно облюбованном месте, между женой и Гришей. И Антипыч по вечерам, при заходе солнца, будет приходить сюда и плакать, жаловаться на свою жизнь, на судьбу, на одиночество. Будет сидеть долго, до звезд, вишенка будет шуметь над ним и Антипыч подумает, что это он, протоиерей, отвечает ему из могилы.

Вдруг о. Петр остановился, как вкопанный. Что это? Мираж? Действительность? На могилках, под вишнею, стоят две фигуры в белом; Вера, жена его, и с нею – маленький мальчик. Жена – молодая, здоровая, как и в те дни, когда и он был молод и пел веселые песни. Оба они крестятся, поют, а когда завидели о. Петра, то Вера начала манить его пальцем, а Гриша радостно протянул к нему ручонки.

И тихий голос донесся до души его:

– Иди к нам!

Может быть то прошумел ветер и качнул деревьями? Но вот другой раз среди свечей и шума ясно доносится:

– Иди к нам!

И детский звонкий голос прибавляет:

– Папа!

Впервые за сорок лет он слышит этот призыв:

– Папа!

Его звали отцом Петром, батюшкой, но папой не звал никто в жизни. И первый раз он почувствовал, отчего так горька и так тяжела была его жизнь.

Не было личного счастья. С женитьбой оно поманило его, но через год, со смертью Веры и Гриши, исчезло безвозвратно. И он сделался стражем человеческого счастья и горя. Когда он венчал или крестил, то бывал доволен, глядя на радость других людей, но не радовался. Когда он хоронил, то жалел плачущих, но не печалился. И эта жизнь без своей радости, но с печалью, которая не давала чувствовать чужие печали, показалась ему теперь ужасной и сорок лет эти казались ему кошмаром. Но кошмар замер – и впереди прекрасная, чудная жизнь! Приступ огромного счастья, безмерной радости сковал его движения. Он слышал, как остановился крестный ход, как кто-то заботливо спрашивал его:

– Что с вами, о. Петр? Вам нездоровится?

В глазах у него мелькнул Авраам, приносящий в жертву Исаака, дьякон, с улыбкой говорящий:

«По два рубля аршинчик!». Кто-то громко кричит, что родительный падеж от *patev postev* будет *patris nostris*, звезды на небе обратились в человеческие лица и запели на весь мир: «Воскресение Твое, Христе Спасе». Но яснее всего были две фигуры в белом, манящие:

– Иди к нам.

И ласково звучал детский голос:

– Папа!

Отцу Петру вдруг сделалось нестерпимо жалко Антипыча, сидящего под вишенкой и рассказывающего свое горе, вспомнил он, что не удалось ему окончить крестного хода и отвалить от гроба камень.

Улыбкой ответил на ласковые манящие улыбки двух белых фигур, протянул к ним руки, в которых были крест и кадило, и крикнул, как ему показалось, на весь мир:

– Иду!

И упал.

Еще вдруг стало легко и весело.

С неба смотрели невинные детские лица и громко, на весь мир, пели:

– И нас на земли спадо-оби...

И пенье несло далеко, далеко.

*Сургучев И. Д.*

Россия – накануне обновления своего флота. Как пожар некогда способствовал обновлению Москвы, так война с Японией поспособствовала «обновлению» русского флота.

Несчастье помогло – и России в самом непродолжительном времени предстоит иметь морские силы, что называется, с иголочки. Броненосцы будут новые, крейсера новые, миноноски новые, пушки новые, – все новое.

Из старого останется только одно: это монополия на звание русского морского офицера. Эта монополия будет оставлена по прежнему за дворянами, быть может, по тем причинам, что они в последнее время положили тоже немало сил и способностей, чтобы известным образом «посодействовать обновлению» флота.

В морской корпус в нынешнем году принимались опять только дворяне, а директор корпуса, г. Римский-Корсаков, увлекшись, даже печатно доказывает, что флотский офицер купеческого или мещанского звания не может быть терпим на военном корабле, так как, появившись на оном, расстроит дворянскую «семью» офицеров.

Г. Римскому-Корсакову отказать в проницательности нельзя, конечно. Его пророческие способности вне всякого сомнения. Действительно, очень возможно, что купец или мещанин, появившись на броненосце, разрушит «семью» офицеров, ибо спроста может подумать, что русский броненосец – прежде всего *военный* корабль.

А по г. Римскому-Корсакову и по тем заветам, которые он, вероятно, много лет проводил во вверенном ему корпусе, русский броненосец – прежде всего «квартира с дровами и услугами дворника». «Квартира» с детскими, спальнями, с будуарами, в которой не хватает только одного: женщин.

Впрочем, логически продолжив статью г. Римского-Корсакова о «семейности» в русском флоте, можно спорить, что в портфеле почтенного директора лежит проект:

«О допущении женщин на военные корабли».

Проект этот начинается, вероятно, так: «Раз начинают хлопотать о допущении женщин в университет, то почему же» и подкрепляется ссылками на компетентность губернатора из «Зеленого острова», который вкупе со своим милым секретарем распевает:

Без жены мужчина –  
Как без рогов скотина,  
Как без очищенной буфет.

*Феникс.*